

ния, держал в уме Михайловского и в этом случае должен был иметь в виду как его рассуждения о «бесе национального богатства» (этим «бесом» одержим Скотобойников), так, несомненно, и возражения критика против того самого тезиса, который закладывался в идеиную основу вставного рассказа о купце. Следовательно, образ Скотобойникова содержал ответ Михайловскому, причем и на рецензию, и на очередные тревожные предостережения в статье «Несколько мелочей» о разгуле «беса», грозящем стране непоправимыми гибельными последствиями. Ответ писателя был тот же, что и в разобранных черновых заметках: от «беса богатства» Россию сохранит «русский дух».

Итак, в разгар работы над «Подростком» Достоевский ни с одним положением рецензии Михайловского на «Бесов» согласен не был. Тему, которую ему подсовывал Михайловский, он рассматривал под иным углом зрения, нежели критик «Отечественных записок». Поэтому следует согласиться с окончательным выводом Е. И. Семенова о том, что «не вызывает особого доверия тезис об идеальной „переориентировке“ Достоевского именно под влиянием статей публициста-народника».⁴⁷

УТОЧНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К КОММЕНТАРИЮ ПОЛНОГО СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ ДОСТОЕВСКОГО

«БЕДНЫЕ ЛЮДИ»

1

Главный герой романа «Бедные люди», Макар Девушкин, объясняя Вареньке Доброселовой свое отношение к проблеме материальной необеспеченности, говорит: «Я про подошвы мои и не думаю, потому что подошва вздор и всегда останется простой, подлой, грязной подошвой. Да и сапоги вздор! и мудрецы греческие без сапог хаживали...» (1, 81). Девушкин здесь явно намекает на Сократа, который «всегда босой, в старом плаще — в таком своем постоянном наряде <...> шагнул с улиц и площадей Афин в долгую историю. Этот наряд был столь обычен для Сократа, что его восторженный слушатель, Аристодем, увидев его однажды в сандалиях, был весьма удивлен. Выяснилось, что Сократ „вырядился“ на пир к поэту Агафону по случаю его победы в Афинском театре...».¹

Как пишет современный Ф. М. Достоевскому автор, «когда мороз был так силен, как только можно было себе представить, когда другие либо вовсе не выходили, либо кто выходил, то на-

⁴⁷ Семенов Е. И. Роман Достоевского «Подросток», с. 15. Однако аргументация Е. И. Семенова в поддержку этого положения не во всем представляется бесспорной.

¹ Нерсесянц В. С. Сократ. М., 1977, с. 102.

въючивал на себя пропасть платья и обуви и закутывал ноги в шерсти и меха, тогда он (Сократ,— К. Б.) выходил <...> в той же одежде, какую обыкновенно носил, и босый ходил по льду гораздо легче, чем другие в обуви».²

2

«... адресуйтесь, пожалуйста, к мадам Шифон на Гороховую и попросите, во-первых, прислать белошвеек...», — просит Варвара Алексеевна Макара Девушкина (1, 103). Имя хозяйки белошвейной мастерской «говорящее», придумано Достоевским не случайно и имеет иронический смысл, так как «chiffon» по-французски означает «тряпка». Ср. «chiffons de femmes» — «женские тряпки», пренебрежительно — о женской одежде.

К. А. Баршт

«СИБИРСКАЯ ТЕТРАДЬ»

Биографический характер ряда записей из так называемой «Сибирской тетради» (Достоевский называл ее своей «тетрадкой каторжной» — 21, 259) несомненен. Уже отмечалось, что повторяющиеся здесь пометы, «возможно, имели особое значение для писателя» (4, 310). Однако смысл этих кратких помет оставался неясен по той причине, что ни в одном из случаев их употребления публикаторы «Сибирской тетради» не могли предложить приемлемого варианта их прочтения. По характеру написания второй буквы не поддававшегося прочтению слова ее можно принять за «л», причем как за латинское, так и за русское. Последнее в свое время и предложил Л. П. Гроссман, правда, не решившийся ввести получающееся при этом свое прочтение в текст «Сибирской тетради». В конце публикации, в сноске, он заметил: «Перед некоторыми датами стоит трудно поддающееся расшифровке обозначение: „Елеи“ или „Елен“. Мы заменили его несколькими точками ввиду неуверенности чтения».¹ Последующие публикаторы помечали слово как неразобранное, а если отступали от этого правила, то крайне неудачно его интерпретировали.²

Но в одном из случаев употребления слова вторая буква его написана совершенно отчетливо как латинское «h», что и позво-

² Веддерхольм К. История древней философии, приспособленная к понятию каждого образованного человека, ч. 11. М., 1842, с. 6.

¹ Звенья, т. VI. М.—Л., 1936, с. 438. Если принять первое чтение, можно было бы предположить, что Достоевский употребляет старый вариант слова «елей» — «елеи» (приведен Срезневским в его «Материалах для Словаря древнерусского языка», т. I. СПб., 1893) в смысле «утешение, успокоение». Как увидим ниже, это противоречит смыслу записей.

² Так, совершенно уже лишено всякого смысла предложенное одним из публикаторов прочтение «Елец!» (Литературное наследство, т. 83. М., 1971, с. 204; об этом случае употребления слова см. ниже).

ляет прийти к заключению, что перед нами латинское «Eheu» (т. е. междометие «увы» или «ах»).³

В результате биографический «пласт» «Сибирской тетради» (ГБЛ, ф. 93, I. 2.5) ⁴ выглядит так:

1855 г.

- «(eheu)» (с. 21 об.)
- «(Eheu 5 июля)» (с. 23)
- «(Eheu! 28 августа)» (с. 23 об.)

1856 г.

- «(Eheu, 20 марта)» (с. 25)
- «Eheu! 8 мая» (с. 25)
- «(17 августа)» (с. 25 об.)
- «(26 сентября 56. Ожидание)» (с. 26)
- «(17 октября)» (с. 26 об.)
- «(19 декабря 56. Надежда!)» (с. 27)

1857

- «(11 мая)» (с. 27 об.)

1860 г.

- «(Eheu. Отъезд М~~каши~~ 6 сентября 860)» (с. 28)

Отметим сразу же, что все приведенные записи связаны с именем М. Д. Исаевой и отражают различные моменты сложного, трагического чувства к ней Достоевского, возникшего весной—летом 1854 г. Первая запись, относящаяся, по-видимому, к июню 1855 г., связана с отъездом семьи Исаевых в Кузнецк. 4 июня 1855 г. Достоевский писал Марии Дмитриевне: «Вот уже две недели, как я не знаю, куда деваться от грусти <...> Право, это время похоже на то, как меня первый раз арестовали в сорок девятом году и скончали в тюрьме, оторвав от всего родного и милого» (П., I, 152). Вторая помета, июльская, вероятно, вызвана той же непроходящей тоской. Запись от 28 августа связана с трагической ситуацией, в которую попала М. Д. Исаева после внезапной смерти мужа. Об этом она писала Достоевскому в частых (несохранившихся) письмах, о которых он в свою очередь сообщал своему другу А. Е. Брангелю (см. письма к нему от 14 и 23 августа 1855 г.: П., I, 155—158, 160—161).

Записи от 20 марта и 8 мая 1856 г. запечатлели события, связанные с получением известий о предполагаемых замужествах Марии Дмитриевны (см. письма Брангелю от 23 марта, 23 мая и

³ Пример из словарной статьи: «Eheu, fugaces labuntur anni» — «Увы, проходят быстротечные годы!» (Гораций). Ср. со стихами из XIV строфы «Песен» («Carminum») Горация: «Eheu fugaces, Postume, || Postume, labuntur anni || nec pietas moram» («О Постум, Постум! Как быстротечные || Мелькают годы! Нам благочестие || Отсрочить старости не может, || Нас не избавит от смерти лютой»).

⁴ См. также: 4, 245—248,

14 июля 1856 г.: П., I, 168—177, 186—193) и отчаянием, в котором находился Достоевский все время, пока надежда на получение им офицерского чина не стала реальной. Последующие пять записей связаны с ожиданием получения этого чина и ожившими надеждами на брак с М. Д. Исаевой: потому-то рядом с этими записями и нет горестной пометы «Eheu». Приказом от 1 октября 1856 г. Достоевский был произведен в прапорщики; венчание его с Марией Дмитриевной состоялось 6 февраля 1857 г.

Любопытно происхождение последней записи, относящейся к 1860 г. «Сибирская тетрадь» к этому времени давно уже не была рабочей; последние записи ее датируются 1857 г. И тем не менее писатель вновь извлекает тетрадь, чтобы обозначить еще одну печальную дату: 6 сентября 1860 г. совершился переезд больной М. Д. Достоевской из Петербурга на жительство в Москву (а потом на время во Владимир). Достоевский же преимущественно живет в Петербурге, лишь время от времени совершая поездки к жене. С ноября же 1863 до 15 апреля 1864 г. он находился неотлучно подле умирающей Марии Дмитриевны. А. Н. Майков, посетивший семью незадолго до этого, писал жене: «Мария Дмитриевна ужасно как сделалась с виду-то хуже: желта, кости да кожа, просто смерть на лице [...] Федор Михайлович всё тешит ее разными вздориками, портмонейчиками, шкатулочками и т. п., и она, по-видимому, ими очень довольна. Картину вообще они представляют грустную: она в чахотке, а с ним припадки падучей».⁵

Помимо «Сибирской тетради» только три раза появилась эта горестная помета «Eheu» в рукописях Достоевского. Причем дважды вновь в связи с именем М. Д. Достоевской. Первый раз при дате 24 июля 1863 г. («24 июля. Eheu» — записная книжка 1863—1864 гг.; ГБЛ, ф. 93, л. 2. 7, с. 21): в этот день предполагаемое заграничное путешествие вдвоем с А. П. Сусловой, ожидавшей Достоевского в Париже, стало реальным (от Литературного фонда были получены взаймы 1500 рублей), и, по-видимому, новая веха в отношениях с Сусловой заставила Достоевского как бы еще раз вспомнить грустную историю его первой любви. Последний раз эта горестная помета возникнет рядом с датой известной записи «Маша лежит на столе («16 апреля <1864>. Eheu!»), которая входит в состав печального перечня трагических событий 1863—1864 гг., завершающего записную тетрадь этих лет:

«25 ноября 63 выезд из Москвы.

16 апреля <1864> (Eheu!)

10 июля, в 7 часов утра — смерть брата Маши.

2 августа. Утро в Павловске. Жарко. Дворянское гнездо (начало). Маша, брат, будущность, потом настоящее».⁶

И лишь один раз (и последний) возникает эта помета безот-

⁵ Литературное наследство, т. 86. М., 1973, с. 393.

⁶ Там же, т. 83, с. 188 (печатается со сверкой по автографу).

носительно к М. Д. Достоевской, но в том же горестном значении: в записной тетради 1864—1865 гг. рядом с датой 25 «сентября» 1864 г.⁷ вновь появляется: «(Eheu!)». В этот день умер Аполлон Григорьев, и, без сомнения, запись, с ее особым скрытым значением, подчеркивает, насколько близок был Достоевскому его давний соратник и сотрудник. И не случайно в таком сухом и деловом документе, как приходо-расходная тетрадь по журналу «Эпоха», в которой нет ни одной не деловой записи, вдруг появляется написанная рукой Достоевского строчка: «Для похорон Ап. Григорьева из числа всей суммы — 10 *руб.*» (ГБЛ, ф. 93, I.3.21). Правда, Достоевский тут же зачеркивает эту «неофициальную» строку, заменив ее вполне деловой: «Порецкому — 10».⁸

Все сказанное позволяет сделать тот вывод, что «Сибирская тетрадь», заключающая в себе целый ряд важнейших дневниковых помет, может считаться серьезным биографическим источником. Тем более серьезным, что это, если не говорить о письмах, самый ранний биографический источник, оставленный самим Достоевским.

Т. И. Орнатская

«СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И ЕГО ОБИТАТЕЛИ»

В научной литературе о «Селе Степанчикове» обнаружены и интересно прокомментированы многие литературные полемики, пародии, литературные цитаты, намеки, реминисценции, творчески переосмысленные в повести.¹

Но одна из реминисценций, связанная с именем Гоголя, автора II тома «Мертвых душ», не привлекала внимания комментаторов. Между тем она представляет интерес в качестве отклика Достоевского на современные события литературной жизни: II том «Мертвых душ» вышел в свет в 1855 г. как дополнение ко второму изданию Собрания сочинений Гоголя. Публиковался он также в исправленном виде в IV томе Сочинений и писем Гоголя, изданных П. А. Кулишом (СПб., 1857).

В первой части «Села Степанчикова», во «Вступлении», представляя читателям Фому Опискина, повествователь сообщает о нем: «Фома Фомич был огорчен с первого литературного шага

⁷ Там же, с. 204.

⁸ Отметим и еще одну запись Достоевского в записной книжке 1860—1862 гг., касающуюся А. А. Григорьева: «В загибании перед Григорьевым» (Литературное наследство, т. 83, с. 154). При исследовании взаимоотношений Достоевского и Григорьева эта фраза может привлечь внимание и вызвать соответствующую интерпретацию. Предваряя эту вероятность, обратим внимание на то, что в рукописи просто записан адрес критика: «В Загибен~~ином~~ переул~~ке~~ Григорьев».

¹ См.: Тынянов Ю. Н. Достоевский и Гоголь. (К теории пародии). — В кн.: Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977, с. 198—226; Туниманов В. А. Творчество Достоевского 1854—1862. Л., 1980, с. 26—63. См. также комментарий А. В. Архиповой к «Селу Степанчикову»: 3, 501—505, 509, 511—515.

и тогда же окончательно примкнул к той огромной фаланге огорченных, из которых выходят потом все юродивые, все скитальцы и странники» (3, 12; курсив наш, — Н. М.).

В эпизоде же из главы первой II тома «Мертвых душ» рассказывается, как «струсил» Тентетников, приняв Чичикова за «чиновника от правительства», так как «в молодости своей он было замешался в одно неразумное дело». Далее разъясняется суть этого «дела». «Два философа из гусар, начитавшиеся всяких брошюр, <...> да промотавшийся игрок затеяли какое-то филантропическое общество, под верховным распоряжением старого плута и масона и тоже карточного игрока, но красноречивейшего человека. Общество было устроено с обширной целью — доставить прочное счастье всему человечеству, от берегов Темзы до Камчатки <...> В общество это затянули его два приятеля, принадлежавшие к классу огорченных людей, добрые люди, но которые от частых тостов во имя науки, просвещенья и будущих одолжений человечеству сделались потом форменными пьяницами. Тентетников скоро спохватился и выбыл из этого круга».²

Иронический намек Гоголя на самые злободневные события в общественной жизни России конца 40-х годов, на деятельность многочисленных, оппозиционно настроенных по отношению к правительству кружков — возможно, в том числе и на общество Петрашевского, в которое входил Достоевский, — очевиден. Между тем исследователями Гоголя этот эпизод также обойден вниманием.

Если принять во внимание сложившееся у Достоевского в конце 40-х годов скептическое отношение к различного рода нестранным «кружкам», о которых он писал в «Петербургской летописи» (18, 12—13) и упоминал в своих показаниях по делу петрашевцев (18, 121, 133—134), то можно предположить, что эпизод из II тома «Мертвых душ» о «филантропическом обществе» и его членах, принадлежащих к «классу огорченных», заинтересовал автора «Села Степанчикова» и нашел своеобразное преломление в контексте повести. Скрытый намек на общественно-политические события в русской жизни (непосредственным участником которых был сам Достоевский), звучащий в гоголевской реалии («фаланга огорченных»), усиливается и ироническим замечанием Бахчеева о Фоме Опискине (во второй главе): «За правду, говорит, где-то там пострадал в сорок не в нашем году» (3, 27; курсив наш, — Н. М.). Так полемически переосмысленное Достоевским гоголевское «словечко» акцентировало в повести аллюзию из эпохи 40-х годов, не утратившую своей злободневности и в 50-е годы.

Н. Н. Мостовская

² Гоголь Н. В. 1) Соч. и письма, т. IV. СПб., 1857, с. 420; 2) Полн. собр. соч., т. 7. Л., 1951, с. 26. (Курсив наш, — Н. М.). В числе приятелей Тентетникова, повлиявших на него «сильно и пылкой речью, и образом благородного негодования против общества», Гоголь называет двух человек, «которые были то, что называется огорченные люди» (там же, с. 16—17).

О ДВУХ ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКАХ СНА РАСКОЛЬНИКОВА

Достоевский-художник, одержимый «тоской по текущему», по словам Д. С. Лихачева, всегда «искал точных мест тому, что ему „мерещилось“, точных адресов: „где-то и когда-то“! <...> Находясь за границей, он нуждается в русских газетах. О газетах он пишет в своих письмах постоянно. В газетах опять-таки ему нужны происшествия, случаи, единичные факты: они были, и он досочиняет к ним, что могло быть».¹

1

Сон Раскольникова (избиение лошади) навеян прежде всего автобиографическими воспоминаниями. Однако у Достоевского часто существенно важные и легко поддающиеся своеобразной «идеологизации» детали берутся уже готовыми из произведений других авторов. Так, установлено, что сон Раскольникова перекликается со стихотворным циклом Некрасова «О погоде» (глава «До сумерек»). Интересно, однако, что сюжет избиения лошади, изложенный с деталями, напоминающими и о Некрасове, и о Достоевском, уже встречался в русской беллетристике 40-х годов (цикл «О погоде» написан в 1859 г.). Речь идет о произведении малоизвестного писателя П. Фурманна «Парголовские тайны», явившемся своеобразным откликом «газетной литературы» на прогремевший роман Э. Сю «Парижские тайны». Сцена избиения лошади описана Фурманном в сухом, почти в протокольном стиле: «Мужик немилосердно колотил лошадь то по спине, то под брюхо, по добруму русскому обычаю, — но она, видно, была с норовом, потому что упрямо переносила удары и не трогалась с места. Нашелся добрый человек из ломовых извозчиков, который, желая оказать услугу мужику, нашел где-то в стороне огромную дубину, принес ее к нему и сказал:

— Ну-ка ее этим... авось пойдет.

Мужик взял дубину и уже замахнулся, как вдруг молодой человек, стоявший в нескольких шагах, схватил его за руку.

— Что ты делаешь? — с негодованием вскричал молодой человек. — Ведь ты убьешь ее!

— Ну убью, так убью, проклятую!.. отвечал мужик с раскрасневшимся от злости лицом...²

Во-первых, вполне возможно, что и сам Некрасов не прошел мимо этой сцены в «Парголовских тайнах». Может быть, *его* поразила замечательная деталь — избиение лошади не только кнутом, но и дубиной (у Некрасова это полено, а у Достоевского — лом). Во-вторых, возможно и то, что указанная сцена из произведения малоизвестного автора была непосредственно

¹ Лихачев Д. С. В поисках выражения реального. — В кн.: Достоевский. Материалы и исследования, т. 1. Л., 1974, с. 8.

² Иллюстрации, 1845, т. I, № 21, с. 326.

(а не только в интерпретации Некрасова) знакома Достоевскому. На это мог бы указывать, например, образ мужика, в изображении Фурманна уже наделенный чертами садизма. От его «раскрасневшегося от злости лица» до «налитых кровью глаз» Миколки — расстояние небольшое. Оба они уже не бьют, а именно «убивают», входят в раж. «Убью, так убью!», — кричит мужик. «Мое добро!», — как-то однообразно-механически вскрикивает Миколка.

2

Факты жестокого обращения с животными действительно широко освещались в русской периодической печати 1860-х годов в связи с обсуждавшейся тогда идеей создания в России общества покровительства животных. Но среди корреспонденций в газетах на эту тему особенно выделяется одна, опубликованная в 1862 г. в «Современной летописи» «Русского вестника» за подпись «М. З.» под названием «Случай истязания лошади. К сведению будущего общества покровительства животных». Приведем текст заметки целиком:

«В одном из №№ „Иллюстрации“ заявлена была мысль об учреждении общества для покровительства домашних животных. Мысль эта заслуживает полного сочувствия. Общества покровительства животных существуют, сколько нам известно, почти во всех странах Европы и приносят видимую пользу. Во Франции и в Италии нам случалось, правда, видеть случаи жестокого обращения с лошадьми, но жестокость все-таки не сопровождалась крайним варварством. Англия отличается особенною мягкостью в обращении с животными, и этим, конечно, объясняется необычайная образованность тамошних бессловесных, о чем остроумно говорит г. Садерланд-Эдвардс в № 26 „Современной летописи“.³ Участь домашних животных издавна возбуждала внимание английского законодательства. В конце прошедшего столетия знаменитый английский адвокат Томас Эрксин внес в парламент билль, направленный против притеснителей домашних животных. Билль этот был принят парламентом и действует до настоящего времени

³ «Посетители более всего поражены были на собачьей выставке необыкновенным поведением животных. Это были, без сомнения, самые благовоспитанные собаки в Европе (...) Сколько бы шуму наделала такая громадная стая невежественных или даже полуобразованных собак! Сколько ворчания и ссор, а потом визгу и раболепства было бы при том обнаружено! Но айлингтонские собаки твердо решились не чинить и не терпеть оскорблений. Между ними были кровные собаки, по прямой нисходящей линии потомки кровной собаки, охотившейся за Уллесом во времена Эдуарда I; они обнаруживали столько же кротости и добродушия, как председатели общественных обедов, и вдобавок несколько поболее чувства собственного достоинства» (Садерланд-Эдвардс. Из Лондона. — Современная летопись «Русского вестника», 1862, № 26, с. 11). Заметим, что остроумие Садерланда-Эдвардса основано на парадоксальном отождествлении общественного неравенства в мире людей с миром животных, на противопоставлении породистых собак невежественным тварям.

в полной силе; этим, конечно, объясняется тот бесспорный факт, что в Англии случаи истязания животных почти никогда не бывают на практике.

Не такова участь наших домашних животных. В России, к сожалению, слишком часто случается видеть примеры жестокого обращения с бессловесными тварями. Но никогда мы еще не видели такого возмутительного случая, как тот, о котором намереваемся сказать теперь несколько слов. Не далее как 25-го июня мы ехали с одним из наших знакомых из Новой Деревни в Лахту. На середине дороги мы увидели следующую сцену: в канаве, прилегающей к шоссейной дороге, лежала опрокинутая телега, запряженная тощую, маленькою клячей. Неизвестно, кто был виновником этого приключения, лошадь или седок, но, вероятно, лошадь, потому что седок, *дюжий парень* лет тридцати, тузил несчастную тварь изо всей силы дугой по голове. Голова и туловище были обагрены кровью; удары часто следовали один за другим, и бог знает, чем бы кончилась эта операция, если бы мы не подоспели на помощь несчастной клячонке и не положили предел такому варварству. На наше замечание, что подобное обращение с животными противно совести и закону божию, парень отвечал: „Известное дело, лошадь *мужицкая*, она слов не понимает“. Неужели и животные подлежат классификации на аристократию и демократию?».⁴

Обратим внимание на прямые переклички: «тощей, маленькой клячи» с «маленькой, тощей, саврасой крестьянской клячонкой» у Достоевского; *дюжего парня* лет тридцати с Миколкой, «молодым, с толстою шеей и с мясистым, красным, как морковь, лицом». Заметим тщетные в обоих случаях обращения героев к Богу и совести. «Да что на тебе креста, что ли, нет, леший!», — кричит один старик из «толпы» в сне Раскольникова (5, 46—48).

Но гораздо существеннее здесь другое — сопоставимость заметки из «Современной летописи» с «идеей» Раскольникова. В корреспонденциях русских газет эпохи 1860-х годов звучат явные отголоски бесчеловечной, ужасной идеи, которая «носится в воздухе». *Дюжий парень*, вышедший из низов, невозмутим: он оправдывает свою жестокость тем, что избиваемая им лошаденка не из породы «сильных мира сего», а принадлежит к разряду «тварей дрожащих»: «*мужицкая*, «слов не понимает»...

У нас нет прямых доказательств, что эта публикация была замечена писателем. Но есть основания предположить, что она запала в душу Достоевского, чуткого к «историям» подобного рода. Такое с ним случалось не раз. Вспомним начало рассказа «Мальчик у Христа на елке»: «Но я романист и, кажется, одну „историю“ сам сочинил. Почему я пишу: „кажется“, ведь я сам знаю наверно, что сочинил, но мне все мерещится, что это где-то слу-

⁴ Современная летопись «Русского вестника», 1862, № 29, с. 31 (курсив наш, — Ю. Л.).

чилось, именно это случилось как раз накануне Рождества, в каком-то огромном городе и в ужасный мороз» (22, 14).

Не принадлежала ли и наша заметка из «Современной летописи» к числу тех «где-то и когда-то» случившихся «историй», которые подсознательно определяли направление творческих поисков Достоевского — писателя и мыслителя?

Ю. В. Лебедев, В. И. Мельник

«БЕСЫ». О ЗАГЛАВИИ РОМАНА И ЭПИГРАФАХ К НЕМУ

Как известно, смысл заглавия «Бесы» и евангельского эпиграфа к этому роману Достоевский в известной степени пояснил сам в своем письме к А. Н. Майкову, написанном 9 (21) октября 1870 г., — через два дня после того, как начало романа было отослано им в редакцию «Русского вестника». Изложив здесь содержание библейской легенды, Достоевский писал: «Точь-в-точь случилось так и у нас: бесы вышли из русского человека и вошли в стадо свиней, т. е. в Нечаевых, в Серно-Соловьевичей и проч. Те потонули или потонут наверно, а исцелившийся человек, из которого вышли бесы, сидит у ног Иисусовых. Так и должно было быть <...> вот эта-то и есть тема моего романа. Он называется „Бесы“, и это описание того, как эти бесы вошли в стадо свиней» (П., II, 291).

В сущности, это пояснение мало прибавляет к тому, что следует из самого содержания романа, и будь с ним уже знаком А. Н. Майков, Достоевский, по-видимому, и не писал бы ему об этом. И вопрос о происхождении заглавия романа и эпиграфов к нему не проясняется ни этим письмом, ни какими-либо другими авторскими свидетельствами или документами, имеющими отношение к творческой истории романа.

Тем не менее уже общий полемический смысл этого романа позволяет предполагать наличие полемического элемента, отражение своего рода полемических ассоциаций и в самом его заглавии, и в эпиграфах. Как нам представляется, приводимые ниже факты прямо или опосредованно, но несомненно сыграли свою роль в выборе заглавия романа и эпиграфов к нему.

Вполне естественно предположить, что, полемически заостряя содержание своего романа, Достоевский мог взять и заглавие для него из лексикона революционной демократии.

Нет необходимости доказывать, что память писателя прочно хранила многие и многие эпизоды литературно-журнальной жизни десятилетней и большей давности: об этом со всей очевидностью свидетельствуют его произведения, и среди них едва ли не в первую очередь роман «Бесы». Несомненно помнил Достоевский и стихотворение одного из вождей русской революционной демократии и одного из своих главных оппонентов и критиков конца 50-х—начала 60-х годов Добролюбова — «Наш демон». Злободневно-сатирическое по своему содержанию, стихотворение это по

форме представляет собой пародию на стихотворение Пушкина «Демон». Оно имеет подзаголовок «Будущее стихотворение», и в нем от лица либерала Добролюбов подводит как бы ретроспективный итог своей предреформенной литературно-критической и публицистической деятельности. Стихотворение появилось во втором выпуске «Свистка» («Современник», 1859, № 4) и было тесно связано с печатавшимся здесь же окончанием статьи Добролюбова «Литературные мелочи прошлого года», радикализм которой, как известно, вызвал возражения Герцена, выступившего в «Колоколе» со статьей «Very dangerous!!!». В стихотворении «Наш демон» Добролюбов, подчеркивая неприятие либеральной публицистикой пафоса своих выступлений, клеймил себя устами ее представителя. Стихотворение, открывавшееся незначительно измененной начальной строкой пушкинского стихотворения, наполнялось далее актуальным для России конца 50-х годов содержанием:

В те дни, когда нам было ново
Значенье правды и добра
И обличительное слово
Лилось из каждого пера;
Когда Россия с умиленьем
Внимала звукам Щедрина
И рассуждала с увлеченьем,
Полезна палка иль вредна
< >
В те дни, исполнен скептицизма,
Злой дух какой-то нам предстал
И новым именем *трюизм*
Святыню нашу запятнал.
< >
На все возвышенное клейма
Какой-то пошлости он клал.
Весь наш прогресс, всю нашу гласность,
Гром обличительных статей,
И публицистов наших страсть,
И даже самый «Атеней», —
Все жертвой грубого глумленья
Соделал желчный этот бес,
Бес отрицанья, бес сомненья,
Бес, отвергающий прогресс.

Уже после смерти Добролюбова это стихотворение как широко известное цитировал в «Современнике» М. А. Антонович. «Вспомните того демона, — писал он в статье «Литературный кризис», не называя имени Добролюбова, — который на все возвышенное в литературе клал клейма пошлости, Громекой не был увлечен, не верил экономистам, не оценил Розенгейма, одним словом,

Весь наш прогресс, всю нашу гласность,
Гром обличительных статей,
И публицистов наших страсть,
И даже самый «Атеней», —
Все жертвой грубого глумленья
Соделал желчный этот бес,
Бес отрицанья, бес сомненья,
Бес, отвергающий прогресс.

Тогда эти насмешки, — писал далее Антонович, — действительно многим казались неосновательным глумлением; в них видели пустой скептицизм, как следствие неверия во все возвышенное, и неблагородное желание охладить благороднейшие порывы. А теперь, прочтите прежние, с адской силой написанные статьи разных господ, сличите их с тем, что они говорили в недавнее время и говорят в настоящую минуту, — и вы почувствуете невольное уважение к памяти людей, которые глумились над этими статьями и у которых, стало быть, было верное чутье и инстинкт истины, угадывавший сразу фразистое лицемerie¹.

Статья Антоновича появилась в возобновленном после восьми-месячного правительственного запрещения январско-февральском номере «Современника», памятном для Достоевского рядом полемических выпадов как в адрес редактируемого им «Времени», так и в его личный. Они содержались и в щедринской хронике «Наша общественная жизнь», и в «Кратком обзоре журналов за истекшие восемь месяцев» Антоновича, и во «Внутреннем обозрении» Г. З. Елисеева, и в рецензии Щедрина на «Литературную подпись» А. Скавронского, которая стала исходным моментом долгой и острой полемики Щедрина с Достоевским.

Прочитанные в статье Антоновича стихи Добролюбова Достоевский в контексте журнального номера мог воспринимать уже как прямо идеологически враждебную декларацию, — обстоятельство, на наш взгляд, существенно подкрепляющее предположение о возможной роли стихотворения Добролюбова в возникновении заглавия романа Достоевского. В свете же этого предположения полемический смысл обретает и предпосланный роману пушкинский эпиграф. В нем как бы заключен своего рода косвенный протест против поэтической вольности Добролюбова, метафорически определен характер отношения великого поэта к представителям того социального движения, с которым полемизировал и боролся Достоевский своим романом.

Элемент полемики заключен и в предпосланном роману библейском эпиграфе, смысл которого Достоевский разъяснял в цитированном выше письме к А. Н. Майкову. Идеолог анархизма Прудон в своей ранней работе-манифесте «Что такое собственность?», знакомой Достоевскому еще по кружку Петрашевского, провозглашал: «Что касается меня, я поклялся и останусь верен своему разрушительному делу, буду искать истину на развалинах (старого строя). Я ненавижу половинчатую работу; и вы можете мне верить, читатель: если я осмеливался занести руку на ковчег завета, я не ограничусь уже только тем, что сниму с него крышку. Надо развенчать таинства святая святых несправедливости, разбить скрижали старого завета и бросить все предметы старого культа на съедение свиньям».² Эта яркая своей образной бескомпромиссностью программа, возможно, в первую очередь и

¹ Современник, 1863, № 1—2, отд. II, с. 89—90.

² Прудон П.-Ж. Что такое собственность? Лейпциг—СПб., 1907, с. 140.

предопределила появление библейского эпиграфа в романе Достоевского.

Однако говорить о прямой полемике Достоевского с Добролюбовым и Прудоном едва ли правомерно. Утратив свою актуальность, эта конкретная полемика в значительной мере утратила и свой смысл. К тому же — и это главное — Достоевский стремился к широкой философской огласовке заглавия и эпиграфов романа. А потому, учитывая приводимые выше факты, следует, по-видимому, говорить скорее не о полемической направленности, но о полемическом происхождении заглавия и эпиграфов романа.

Н. С. Никитина

О НЕУЧТЕНОЙ ПАРОДИИ НА И. С. ТУРГЕНЕВА

Как установлено А. С. Долининым, объектом пародирования в «Бесах» был целый ряд тургеневских произведений — прежде всего «Довольно» и «Казнь Троцмана», а также «Призраки», «Стук-стук», «По поводу „Отцов и детей“».¹ Однако этот перечень не может считаться исчерпывающим: «присутствие» Тургенева в романе столь ощутимо, что возможно обнаружение еще целого ряда «парафраз», в том числе и на темы достаточно широко известных произведений. Приведу пример.

В главе «Петр Степанович в хлопотах» описана, в частности, встреча младшего Верховенского с фон Лембке и достаточно подробно изложено содержание романа, написанного губернатором. Вот что говорит Петр Степанович:

« — Две ночи сряду не спал по вашей милости. Третьего дня еще отыскали, а я удержал, все читал, днем-то некогда, так я по ночам. Ну-с, и — недоволен: мысль не моя. Да наплевать, однако, критиком никогда не бывал, но — оторваться, батюшка, не мог, хоть и недоволен! Четвертая и пятая главы это... это... это... черт знает что такое! И сколько юмору у вас напихано, лохотал. Как вы, однако ж, умеете поднять на смех sans que cela paraisse!² Ну, там в девятой, десятой, это все про любовь, не мое дело; эффектно, однако; за письмом Игренева чуть не занюнил, хотя вы его так тонко выставили... Знаете, оно чувствительно, а в то же время вы его как бы фальшивым боком хотите выставить, ведь так? Угадал я или нет? Ну, а за конец просто избил бы вас. Ведь вы что проводите? Ведь это то же прежнее обоготовление семейного счастья, приумножения детей, капиталов, стали жить-поживать да добра наживать, по-

¹ Долинин А. С. Тургенев в «Бесах». — В кн.: Достоевский. Статьи и материалы. Под ред. А. С. Долинина. Сб. 2. Л., 1925, с. 117—136.

² Не подавая вида (франц.).

милуйте! Читателя очаруете, потому что даже я оторваться не мог, да ведь тем сквернее» (10, 271).

Казалось бы, зачем потребовалось Достоевскому столь детально описывать «книгу жизни» губернатора? Потому, что автор столь же подробен и при описании его «театральных» поделок? Думается, что здесь преследовалась иная цель. И «ключом» к пониманию эпизода является умышленно названный персонаж — «Игренев». Фамилия образована от «игрений», т. е. «рыжий», и, следовательно, синонимична к более известной литературной фамилии — «Рудин».³ Если же перечесть эпизод под таким углом зрения, то легко обнаруживается прямая перекличка с романом Тургенева. В частности, письмо «Игренева» — не что иное, как прощальное письмо Рудина к Наталье, заставившее плакать обоих (кстати, об их любви говорится как раз в девятой—одиннадцатой главах; в одиннадцатой приведен текст письма). В третьей—четвертой главах излагаются взгляды Рудина, которые могли рассмешить Верховенского (в том числе о вреде «всеобщего и полного» отрицания, т. е. нигилизма). Есть здесь и «обоготовление семейного счастья»: Лежнев женится на Александре Павловне, Волынцев — на Наталье. Наконец, оценки «романа» и позиции «автора» соответствуют известной части критических суждений об оригинале.

М. Д. Эльзон

«БОБОК»

«Литератор», от лица которого ведется повествование в рассказе «Бобок», рассуждая «насчет помешательства», приводит в подкрепление своих иронических выводов «испанскую остроту»: «Припоминается мне испанская острота, когда французы, два с половиною века назад, выстроили у себя первый сумасшедший дом: „Они заперли всех своих дураков в особенный дом, чтобы уверить, что сами они люди умные“. Оно и впрямь: тем, что другого запрешь в сумасшедший, своего ума не докажешь» (21, 42—43).

Герою, мечтающему «вольтеровы бонмо <...> собрать», «припомнились» «Персидские письма» Шарля-Луи Монтескье. В «Письме LXXVIII» (Рика к Узбеку в ***) содержится язвительное описание нравов и обычаев Испании глазами проживающего там француза. В конце письма Рика сочиняет за путешествующего по Франции испанца начало памфлетного послания: «Здесь есть дом, куда сажают сумасшедших. Можно бы

³ См.: Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка, т. 2. СПб.—М., 1881, с. 8; т. 4. СПб.—М., 1882, с. 108. Напомню гоголевского пасечника «Рудого» («рыжего») Панька.

предположить, что он самый большой в городе. Нет, лекарство слишком слабо в сравнении с болезнью. Несомненно, французы, пользующиеся очень дурной славой у соседей, для того запирают нескольких сумасшедших в особый дом, чтобы создать впечатление, будто те, кто находится вне этого дома, не сумасшедшие» (Монтецье Ш.-Л. Персидские письма. М., 1956, с. 195). Ранее, по вполне обоснованному предположению Е. И. Кийко, Достоевский воспользовался содержанием «Письма LI» в «Зимних заметках о летних впечатлениях» (5, 58, 366).

B. A. Туниманов